

Магдалина Гросс

Совсем не женская история

Рассказы

12+

Магдалина Гросс

**Совсем не женская
история. Сборник рассказов**

«ЛитРес: Самиздат»

2018

Гросс М. В.

Совсем не женская история. Сборник рассказов / М. В. Гросс —
«ЛитРес: Самиздат», 2018

Герои этой книги живут среди нас. "Совсем не женская история" - это рассказы о сегодняшних днях, о том, что нас окружает, о том, как каждый из нас реагирует на жизненные обстоятельства.

Магдалина Гросс

Совсем не женская история. Сборник рассказов

«Титаник на колёсах»

Сейчас Любовь Ивановна очень жалела о том, что у неё почти не осталось фотокарточек той поры, когда она была ещё студенткой филфака. Фотография увлекла её намного позже, а истинную ценность запечатленных кадров она и подавно поняла только тогда, когда у неё родился сын. Зато в памяти у неё остались незабываемые яркие впечатления из теперь уже таких далёких восьмидесятых годов. Называли Любовь Ивановну тогда просто Любой, не прибавляя отчества к её имени, а зачастую попросту – Любашей.

Теперь, по прошествии лет, Любовь Ивановна часто усаживалась в уютное мягкое кресло, стоявшее у торшера, и, сетуя на то, что у неё в молодости не было фотоаппарата, предавалась воспоминаниям, держа в руке чашку ароматного, сваренного в старинной турке кофе.

То ей на память приходила «картошка», на которую они ездили, будучи студентами-первокурсниками, а то вдруг вспоминалась летняя практика в пионерском лагере, где каждое утро начиналось с линейки и обязательного подъёма флага. Мероприятия же в лагере неизменно сопровождались маршировкой под барабанную дробь, и барабанный перестук до сих пор отчётливо слышался в ушах Любове Ивановны. А иной раз вдруг откуда ни возьмись вырисовывались в её голове первые, неумелые уроки, которые она проводила, будучи студенткой четвертого курса.

Эх, чего только не преподносила студенческая пора... А работа проводницей! Эти воспоминания – полные приключений и романтики – были особенными. И было ей, Любаше Сидоровой, всего-навсего восемнадцать лет, когда она впервые попала в студенческий стройотряд с замечательным и притягивающим к себе названием «Стрела»!

Впрочем, это спустя двадцать с лишним лет хорошо говорить – «попала». А тогда... Тогда, прежде, чем освоить казалось бы на первый взгляд самую простую железнодорожную профессию, ей и другим студентам пришлось учиться. Причём целых четыре месяца. Нет, конечно, устройство локомотива они не проходили, зато, по окончании курсов знали, например, как работает электросистема в вагоне, и откуда всё в том же вагоне берётся вода. Кстати, владели вновь испечённые проводники и такой премудростью, как розжиг титана. Ведь два десятка лет назад для того, чтобы напоить пассажиров чаем, требовалось сначала разжечь греющее воду устройство бумагой, затем, минут пятнадцать протапливать его сухими щепочками, а потом, когда те прогорали, засыпать уголь. Уголёк выдавался в брикетах (для титана) и просто кусками для обогрева вагона. Последний ни разу не потребовался – ездила-то студенческая бригада летом! А вот брикеты... По сути говоря, это был и не уголь даже, а прессованный торф. И вот когда щепочки в титане вроде бы давали хороший жар, этот самый горе «уголь-торф» порой портил всё дело. Разгорался он плохо и всю предыдущую работу проводника иногда сводил на нет. Память частенько подбрасывала задумчиво сидящей в кресле Любове Ивановне те моменты, когда ей приходилось вынимать из титана обгоревший брикет и начинать всё сначала. Конечно, попавшись пару раз на удочку никак не хотевшего разгораться упрямыца, Любаша стала растапливать этот железный агрегат примерно за час-полтора до поездки. Поэтому пассажиры, которые начинали пить чай сразу после проверки билетов, даже не подозревали, каких трудов начинающей проводнице стоило заставить работать железный бачок, в котором на их взгляд, не было особых премудростей.

Их бригада ездила в основном в Адлер, а когда «нештатные» студенты-проводники были свободны, их отправляли в Москву. «Фирменный» скорый поезд им обслуживать конечно же

не доверяли, а вот обычный пассажирский состав – это пожалуйста! И тогда у всех без исключения возникало такое чувство, что столица расположена от них совсем близко, казалось, протяни руку – и вот он, Ярославский вокзал. Это была правда: если путь до Адлера и обратно занимал пять дней, то «оборот» в Москву умещался по времени всего-то в одни сутки. А раза три или четыре занесла их жизнь далеко-далеко на Урал, а вернее – за Урал. Любаша даже и не знала тогда, что есть на карте город с таким чудным названием – Ноябрьск. Но где бы ни проезжал поезд, студенты не уставали любоваться красотами природы, которые то и дело сменялись за окнами вагонов.

Среди их девчоночьего коллектива был студент с архитектурного – Андрей, который всегда ездил с запасом карандашей и большим блокнотом. Чуть что – и Андрей доставал свои карандаши и принимался прямо на ходу зарисовывать те пейзажи, которые проезжал поезд. Так, на листках его блокнота появлялась то тайга, которая лежала с обеих сторон железной дороги, когда поезд мчался в северном направлении, то необычные кубанские белые хаты, на крышах которых сушилось сено (филфаковцы почему-то сразу вспоминали Гоголя), то морское побережье, вдоль которого они медленно ехали, начиная от Туапсе. Для всех, не только для одного Андрея, все это было ново, необычно для глаз и просто красиво.

Своими воспоминаниями Любовь Ивановна иногда делилась то с сыном, то с племянницей, то с учениками, и надо отметить, что слушали они её всегда с большим интересом. А иногда кое-что перепало и её соседу по площадке – Костику, который работал курьером где-то в местной газете и в будущем собирался учиться на журналиста. Он был в свободную минуту не прочь поболтать с Любовью Ивановной, считая её на редкость интересной собеседницей, а заодно и послушать какую-нибудь историю, как он сам говорил, «из прошлого века».

Вот и в этот раз, заскочив за спичками, Костик привычно спросил: «А что, тётя Люба, может, порадуете какой-нибудь интересностью?» Речь у Костика пестрела им самим же изобретёнными словами, и Любовь Ивановна успела уже к ним привыкнуть. Она только иногда удивлялась, думая, что, если парень в будущем собирается писать газетные или журнальные статьи, то речь у него должна быть идеально грамотной.

– Впрочем, – тут же сдавала свои позиции любившая порядок везде, и прежде всего, в речи, Любовь Ивановна, – новые веяния всегда и везде приживаются с большим трудом. Сейчас молодёжь изъясняется так, что более старшему поколению иногда их словечек не понять. А если Костику всё же улыбнётся счастье, и он поступит в университет, где станет постигать азы журналистского дела, то за годы учёбы речь его выровняется и разного рода неологизмами и «отсебятиной» слух резать уже не будет. Так, усадив парня за стол и налив ему стакан чаю с лимоном – потому что тот без лимона чай не признавал ни в какую – Любовь Ивановна спросила:

...Помнишь, я тебе как-то раз рассказывала о том, как мы два лета подряд работали проводниками? Костик, сделав глоток своего любимого чая, тут же заинтересованно закивал, а Любовь Ивановна продолжала:

– Нашу бригаду в основном ведь в Адлер направляли, а туда мы всегда приезжали с опозданием. Вместо положенных шести часов вечера, поезд в лучшем случае прибывал на конечный пункт часов в десять. Бывало, конечно, и позднее.

Как-то раз ехал у меня в вагоне пассажир, который должен был от Адлера добираться куда-то дальше. Но так как приехали мы, как обычно, поздно, гражданин, приуныв, от того, что его вечерний автобус давным-давно ушёл, попросился остаться, чтобы переночевать в вагоне, так как города он совсем не знал, и даже где находилась ближайшая гостиница, не имел никакого представления.

Костик, продолжая отхлёбывать из стакана горячий чай, про себя, наверное, уже в сотый раз отметил, что тётя Люба была очень даже хорошей рассказчицей. Кое-какие её истории

будущий журналист планировал даже взять на заметку: а вдруг они для будущей его учёбы пригодятся! А та уже продолжала:

– Мужчина этот произвёл на меня ну о-о-очень положительное впечатление. В костюме, при галстуке, в очках – он смахивал на какого-то научного сотрудника. Поколебавшись минуту, я решила: «Пуускай остаётся, ведь не выгонять же в самом деле человека в непроглядную темень на улицу! Кто был на юге, тот знает, что поговорка «В городе Сочи тёмные ночи» не лишена смысла – ночи в тех краях, действительно, хоть глаз выколи.

Костик, которому на юге побывать ещё не доводилось, а, следовательно, про южные ночи он не знал ничего, только покачал головой.

«Да разве, – вымолвил он с неподдельным удивлением, – можно незнакомого человека оставлять в вагоне на ночь? Мало ли, что ему могло взбрести в голову?»

– Знаешь, Костя, – чуть задержалась с ответом Любовь Ивановна, – люди раньше были, ну как тебе сказать... попроще, что ли... Мне в тот момент и в голову не пришло, что он мог что-то такое вытворить. Тем более, я тебе уже сказала, что он показался мне очень воспитанным и положительным во всех отношениях.

– Итак, – продолжила она, – мой пассажир остался ночевать. Пока он готовился ко сну в своём купе, я закрыла в вагоне все окна, и его попросила сделать же самое. Дело в том, что я была ужасная трусиха, и боялась того, как бы в вагон под покровом ночи кто-нибудь не залез. Пассажир улыбнулся мне и ответил, что уж если кто-нибудь решит посягнуть на мою жизнь, он сам лично будет меня защищать.

Весьма туманно представляя себе, как худощавый очкарик интеллигентного вида в костюме и белой рубашке вдруг перевоплотится в рыцаря, – предаваясь своим студенческим воспоминаниям, говорила Любовь Ивановна, – я всё же пролетела ему что-то насчёт комаров, которые могут залететь в окно и испортить ему сон. Гражданин, подивившись моей неосведомлённости, громко расхохотался, затем весьма серьёзно добавил: «Девушка, данная местность для проживания комаров не пригодна».

«Ну, точно: ботаник! – думала я, шагая к себе в «дежурку» – причём, и в прямом, и в переносном смысле слова!»

Затем, засев за подсчёты, сколько у меня было пассажиров за весь путь, кто и где вышел (эта документация строго проверялась ревизорами в пути, поэтому с её заполнением и постоянной проверкой лучше было не шутить), я не заметила, как мы тихонько куда-то поехали. Да если бы и заметила, меня бы это не удивило: наш состав частенько отгоняли на запасные пути.

... Из мира цифр меня вывел жуткий вопль. Вообразив себе, что в вагон всё же влез вор, и теперь мой пассажир с ним сражается, я поспешила в купе моего ночного гостя. Открываю дверь, и ... О, ужас! – на нижней полке сидит... белая мумия, вся в мыльной пене, машет руками и испускает какие-то нечеловеческие звуки, из открытого окна хлещет вода, причём сила потока явно не дождевая!

Представив себе эту картину, Костик не сумел сдержаться и расхохотался. Вместе с ним засмеялась и Любовь Ивановна.

– Я опомнилась первой, – вновь заговорила она – бросилась закрывать окно. Представляешь, на меня вода льётся вёдрами, гражданин пытается стряхнуть с себя эту невесть откуда взявшуюся пену, при этом он громко ругается, пена лезет ему в рот, он снова ругается и так до бесконечности...

– А почему же Ваш пассажир не бросился помогать Вам? – совершенно искренне снова удивился Костик, – он же обещал Вам, что будет Вас защищать от разного рода неприятностей. Что же он, всё это время сидел и только ругался?

– Да нет, конечно же, – ответила Любовь Ивановна. – После того, как он, увидев, что моих сил не хватает, встал, и тогда уже с его помощью окно нам всё же удалось закрыть. Именно

в тот момент я и поняла, что наш поезд завезли ... на мойку! Бог мой, мы уже второй месяц колесили по городам и весям, но ни разу наш поезд не мыли снаружи!

Успокоить разбушевавшегося пассажира было делом нелёгким. Худшее, правда, было впереди, когда я увидела, что мой вагон ВЕСЬ, с первого и до последнего купе залило водой, и теперь он представлял собой этакий «Титаник» на колёсах!

– Ну, дела... – задумчиво произнёс Костик. Он уже выпил весь чай и даже съел лимон, – и что же Вы делали дальше?

– Дальше? – снова засмеялась Любовь Ивановна. – А дальше последовала уборка вагона изнутри. Оставшуюся ночь мы оба провели с тряпками в руках. Мой интеллигентный гость и в правду не бросил меня в трудную минуту. Он собирал воду, таскал ведра – короче помогал мне, чем мог и как мог. Часов в пять, измотанные, уставшие, мы сели в одном из купе, убито посмотрели друг на друга. И тут на нас нашёл такой смех... – вид у обоих, прямо скажем, был, далеко не лучший! Хохотали мы долго, минут двадцать. До тех пор, пока гражданин не вспомнил о своём костюме. Однако, второго приключения не получилось. Костюм был сухим, так как «ботаник», имени которого я даже не спросила, вопреки своей привычке вешать костюм на плечики, просто взял да и положил его на третью полку. Туда, естественно, водные потоки не добрались.

– На этом вся история и закончилась? – с небольшим оттенком разочарования в голосе спросил Костик. – И Вы так и не узнали имени этого человека? Видно было, что рассказ Любви Ивановны ему понравился, но парень, видимо, полагал, что у неё должен быть какой-то особенный конец.

– Представь себе, – вздохнула Любовь Ивановна, – так не узнала. Поблагодарила его, конечно, за помощь, а потом, прислонившись к открытой двери тамбура, стояла и смотрела, как мой пассажир, в костюмчике, в белоснежной рубашке, не выспавшийся, но улыбающийся, сходит с подножки поезда и машет мне рукой на прощание. Так и смотрела ему вслед долго-долго, пока он не скрылся из виду.

Из задумчивости меня, помнится, вывел голос начальника поезда. Вместе с несколькими кадровыми проводниками она делала обход вагонов. «Ну, надо же какая чистота! – услышала я восхищённые нотки в её голосе, – вот студенты, какие молодцы, везде успевают. И на море ночью искупаются, и вагон изнутри так намоют, аж всё блестит!»

– Ну а дальше? – Костик упорно стоял на своём.

– Дальше? – всё так же весело переспросила Любовь Ивановна, – дальше они ушли проверять порядок в других вагонах, а я всё стояла и думала: «Да... знали бы вы все, в каком море мы сегодня ночью искупались!»

Родионов

Родионов был худощавым и нескладным. Такими бывают все мальчишки, когда находятся в переходном возрасте. Родионову было тринадцать. Речь его была тихая, невнятная; учителя, особенно словесники, обычно сравнивают речь таких учеников с «кашей» или что-то в этом роде.

В классе он ничем не выделялся. Сидел за своей четвертой партой и никому не мешал: ни одноклассникам, ни учителям. И ему никто никогда не мешал: если ребята, кто побойчее да посильнее, начинали задирать его, он улыбался какой-то непонятной улыбкой – то ли слишком наивной и детской, то ли беззащитной. Словив щелчок по носу или дружеский тумак по затылку, Родионов обычно тёр ладонью место, явившееся объектом внимания его одноклассников, но никогда не давал сдачи и не огрызался. Посмотришь со стороны – прямо кисель какой-то, а не человек!

Невозможно было понять, о чём он думает, да и думает ли вообще этот белобрысый незаметный паренёк, которого солнышко при рождении легонько поцеловало прямо в переносицу, оставив на ней с десяток крохотных веснушек. Лицо его, обычно спокойное, если не сказать – равнодушное ко всему происходящему – крайне редко оживлялось эмоциями. Когда на перемене в компании одноклассников ему случалось услышать какую-нибудь смешную историю или анекдот, он не смеялся, а только улыбался, причём улыбка эта была сродни удивлению. Будто Родионов и сам удивлялся тому, что умеет растянуть рот в улыбке.

С девчонками он не общался. И если некоторые мальчишки его возраста уже в открытую чинно прогуливались с одноклассницами по школьным коридорам (а ещё все тихонечко шептались, что рослый и красивый Свиридов тайком поцеловал Лильку Кравчук прямо за зданием школы), Родионов был далёк от всего этого. Девчонки тоже не обращали на него никакого внимания, так что счёт здесь был однозначно «ноль-ноль» ни в чью пользу.

Таню прислали в эту школу, что находилась на самой окраине города, на практику. Вот уже десять дней как она, доехав до конечной остановки, выходила и шла через небольшой парк в школу, где ещё не совсем умело, но горя большим желанием, пыталась научить вверенных ей подопечных правильно произносить английские слова и переводить несложные тексты из учебника.

Вечерами, сидя на табуретке в тесной кухоньке, она старательно, пытаясь не пропустить ничего из того, чем её долгое время вооружали на кафедрах педагогики и психологии, писала развёрнутые планы уроков, чтобы утром вести по ним занятия.

Планы – планами, но все задумки студентки четвёртого курса Симоновой Татьяны Васильевны исполнялись не всегда. Ученики, не особо воспринимая её за «настоящую» учительницу, то и дело норовили увести тему урока куда-нибудь в отдалённое место, где английский язык совершенно не требовался. И Таня, иногда поддавшись общему настрою класса, вдруг забывала о том, что ей надо вести урок и совершенно неожиданно для себя заводила с учениками далёкие от учебного процесса разговоры.

В большинстве случаев ей, конечно, удавалось не отвлечься от спланированного накануне занятия, и тогда она вызывала к доске и Лильку, которая выучив длиннющее английское стихотворение, победоносно шла за парту с «пятёркой», и Свиридова, который что-то пытался рассказать о Лондоне, правда, «рассказом» это можно было назвать с большим трудом, и Родионова, который вообще был в больших неладах с неправильными глаголами. А уж когда дело доходило до спряжения в простом настоящем времени... тут он, что называется «плавал» вовсю. Таня со вздохом ставила Родионову «тройку» и почти умоляющим голосом спрашивала: «Ведь ты же выучишь в следующий раз, правда?» Родионов изображал на лице подобие улыбки, и пожимал плечами, теребя пуговицу на школьном пиджаке. И пока он возвращался к своей парте, Таня успевала понять, что в следующий раз ничегошеньки не изменится.

... А потом её практика как-то совсем неожиданно закончилась. Пришли осенние каникулы, и ребятню распустили по домам. Тане же каникул не полагалось, но она, соскучившись по учёбе, с головой окунулась в череду лекций и семинаров. И только иногда, заваривая себе чай в той самой кухне, где она кажется, так недавно готовилась к урокам, Таня мысленным взором окидывала свою педагогическую практику – те самые школьные дни, в которых незримо присутствовал весь её класс: и бойкий красавец Свиридов, и тихий и незаметный Родионов, и Лилька, которая упершись руками в бока, хвасталась перед девчонками: «Я выйду замуж только за генерала!»

– Татьяна Васильевна! – прозвучало за её спиной. Таня оглянулась. К ней неспешной походкой, везя перед собой светло-коричневую коляску, подходила молодая женщина. Таня невольно прищурилась и в тот же миг узнала в этой располневшей, но отнюдь не потерявшей своей былой красоты, даме... Лильку. Лильку Кравчук!

– Лилечка, – начала Таня несколько смущённо, – а я вот случайно оказалась в этих местах...

Но Лилька, видимо обрадовавшись Тане, словно старой знакомой, перебила её:

– А я думаю, – быстро заговорила она, – Вы это или не Вы. Сначала сомневалась, а как только Вы в профиль повернулись, я уж признала Вас окончательно.

Они пошли по парковой дорожке, медленно, наступая на пожелтевшие листья, которые лёгкий ветерок гонял по старому потрескавшемуся асфальту. Лилька рассказала о том, как она вышла замуж, и совсем не за генерала, а за Мишу, который учился в той же школе, но был на два года старше. Теперь он заканчивал заочно строительный техникум и работал на стройке очень важного здания, предназначавшегося для филиала одного из московских банков. Работы много, Лилька в последнее время его и не видит, но зато уж когда сдадут объект – тогда можно будет расслабиться. И, может быть, они даже съездят на недельку в Турцию, потому что всей бригаде, которая работала даже по ночам, обещали очень хорошо заплатить. Только бы мама согласилась посидеть с Антошкой...

Они дошли до конца аллеи и повернули обратно. Ветер всё также играл с желто-бурыми листьями в догонялки, а Таня удалилась воспоминаниями в то время, когда она, студентка из педагогического института, каждый день ходила этими тропками-дорожками в школу, а вечером возвращалась домой опять этим же парком, и на душе у неё было какое-то горько-сладостное чувство, когда понимаешь, что годы уже не вернуть, но память всё рисует и рисует картины твоей молодости, словно не хочет отпускать тебя из тех времён. И она шла рядом с Лилькой – вроде бы той самой, но в то же время уже совсем другой Лилькой, которую уж наверно надо было бы называть по имени-отчеству – слушая её рассказ и покачивая головой в такт её словам.

– А помните Валерку Родионова из нашего класса? – внезапно спросила Лилька.

– Родионова? – Таня на мгновение задумалась. И вдруг, словно по отданной памяти команде, в голове её возник образ нескладного худого светловолосого мальчика, который улыбался наивно-детской улыбкой и не особо интересовался английским языком.

– Погиб он, – каким-то неопределённым голосом промолвила Лилька, так же неопределённо глядя на ручку коляски. – В «горячих точках» три раза был, и ничего – Бог миловал, а вот тут, в мирном городе в мирное время... Она остановилась, и Таня остановилась тоже, пытаясь осмыслить сказанное Лилькой. И хотя до неё пока ещё и не дошёл окончательно смысл слова «погиб» относящийся к Родионову, она внутренне удивлялась, как можно говорить о подобных вещах просто и буднично. И пусть в голосе Лильки проскальзывали нотки то ли жалости, то ли сожаления, Таня чувствовала, что для неё – это только новость, которую можно рассказать другим, и не более.

Лилька снова снялась с места и покатила перед собой коляску красивого кофейного цвета, и Таня машинально пошла вслед за ней, а Лилька, словно восстановив в памяти стершиеся уже давно события, рассказала Тане, что в девятом классе Родионов неожиданно для всех записался в секцию рукопашного боя. Месяца три или четыре об этом никто не знал, а когда мальчишки прослышали о таком, казалось бы, совсем невероятном для Родионова поступке, они стали посмеиваться и попробовали было, как всегда, дружески надавать ему щелчков и тумачков. Вот только и щелчки, и тумачки моментально канули в прошлое, когда на ближайшем уроке физкультуры Родионов показал в так называемом «учебном бою» то, чему научился в своей секции. Смешки сменились немим переглядыванием одноклассников, стоявших шеренгой в спортзале, а затем и вовсе переросли в уважение, которое, если сказать честно, ещё долго граничило с удивлением и перешёптыванием.

Затем Родионов учился в каком-то то ли ПТУ, то ли техникуме – Лилька уж этого и не помнит, конечно, – откуда его и забрали в армию, и в округе поговаривали, что попал он в десантные войска.

– А из армии он пришёл, – постепенно выводила Танины мысли на свет Лилька, – его было не узнать. Он когда по улице шёл, сразу была видна выправка и стать.

И симпатичный он такой сделался, что она, Лилька, непременно бы влюбилась в него, если бы в то время уже не встречалась с Мишей, с которым закрутила страстный роман.

А правильную цепочку дальнейших событий Лилька не могла воспроизвести в своей голове, потому что Родионов выпал из её поля зрения (да честно говоря, она, уже окончательно увлечённая Мишей, особо и не стремилась думать о нём). Знали все только, что он завербовался куда-то на Северный Кавказ, где и побывал, как уже сказала Лилька, целых три раза.

Антошка в коляске проснулся и стал выказывать явное недовольство тому, что его обходят вниманием. Затем он деликатно закричал, надеясь видимо, на то, что взрослые заметят, наконец, что сон его уже кончился. Лильке пришлось остановиться и вытащить его из коляски.

«Маленький ты мой, – ласково заговорила Лилька, – кушать захотел, зайчика? Сейчас пойдём домой, мамка тебя покормит...»

Таня стояла около них, потом словно спохватилась:

– Лиля, давай я помогу тебе. Ты носи Антошку, а я повезу коляску.

Так они и пошли, впереди Лилька с малышом, которому она беспрестанно щебетала что-то ласковое, а сзади Таня с коляской, которая легко катилась вперёд, словно пыталась догнать своего маленького хозяина.

Перед подъездом они остановились.

– Дядь Вить, – обратилась Лилька к проходившему мимо сутуловатому мужчине с усталым лицом, – помоги коляску до квартиры дотащить.

Мужик обхватил коляску с двух сторон и, приподняв её словно пёрышко, не говоря ни слова, затащил на ступеньки, а затем открыл дверь подъезда и исчез в нём.

– Пойдём мы, Татьяна Васильевна, – обернулась Лилька, – Антошка голодный, мы ведь до встречи с Вами целый час гуляли, да в парке ещё сколько ходили.

– Да-да, конечно, – заторопилась Таня, – мне ведь тоже пора. Может, как-нибудь ещё увидимся, Лилечка. Она произнесла эти слова, надеясь в душе, что Лиля может, постоит ещё минутку и расскажет про Родионова, но Лиля кивнула ей в ответ, и скрылась за подъездной дверью, как минуту назад за ней скрылся дядя Витя с коляской.

Так разговор и закончился многоточием.

...Дома Таня нашла старый альбом с чёрно-белыми фотографиями.

Она так и не узнала, что произошло в тот серый октябрьский вечер, когда возвращаясь вечером с работы, Родионов, переходя через рельсы железной дороги, увидел вдали яркий свет локомотива. Но это было ещё не всё. На освещаемом мощной лампой участке Родионов увидел тёмный силуэт человека, который шёл по рельсам, засунув руки в карманы. Шёл быстро и деловито. И всё бы это было ничего, если бы локомотив,двигающийся где-то сзади, не подползал бы к нему страшной, сметающей всё на своём пути, силой. Моментально оценив обстановку, Родионов со всех ног бросился к этому человеку. Пока он бежал, он перекрутил в своей голове тысячу вариантов, задаваясь вопросом, почему этот тёмный человек не уходит с рельсов – ведь локомотив гудел так, что можно было оглохнуть. Приблизившись так, что от незнакомца его отделяло уже не более десяти-пятнадцати метров, Родионов сообразил, в чём дело. По рельсам быстрой походкой шёл паренёк с наушниками. И этот парень, находясь в плену музыкальных звуков, ничего не слышал ни в каком смысле слова: ни в прямом, ни в переносном. Локомотив был уже рядом, он не переставая гудел и свистел, и будь он человеком, он, вероятно бы осип и охрип от издаваемых собою звуков. Родионов сильными руками схватил парня почти поперёк туловища и сбросил с рельсов куда-то вбок, где темнели низкорослые кусты каких-то растений, вечно сопровождающих бесконечные железнодорожные пути. Он и

сам бы успел отпрыгнуть буквально в последнюю секунду, если бы не поскользнулся перед железной машиной на старых деревянных шпалах...

... Нет, ничего этого Тане уже было не суждено узнать. Вечером, прихлебывая чай из старомодной белой с золотистой каёмкой чашки, она медленно пролистала свой альбом и остановилась там, где было несколько снимков, оставшихся с её первой школьной практики. С одного из них, улыбаясь виновато и наивно, на неё смотрел невысокий худощавый паренёк со светлыми волосами, который, вероятно, впоследствии так и не выучил, как спрягаются английские глаголы в простом настоящем времени...

Совсем не женская история

Женька ураганом летела по школе. Внутри всё бурлило, клокотало от злости. Перед глазами мелькали школьные стенды, таблички с названиями кабинетов... Женька в ярости металась между этими кабинетами и никак не могла найти тот единственный, который был ей нужен. «Как она только могла? Как могла?», – крутился, вертелся и рассыпался на колючие, мелкие злые бисерины засевавший в голове вопрос. Окончательно запутавшись в школьных коридорах-переулках, Женька схватила за рукав пробежавшего мимо белобрысого очкарика: «Где тут кабинет завуча?» Слова вырвались из Женьки как гром. Мальчик растерялся и молчал. Женька затрясла его за плечи, за голову. Очки упали, из кармана брюк высыпались какие-то монетки, железки, ластик. Всё это гулом отдалось в стены, в потолок, а Женька уже неслась дальше, не слыша, как заплаканный малец бросился подбирать с пола своё нехитрое богатство. Вдруг перед Женькиными глазами мелькнула нужная ей табличка. Ага! Запыхавшись, Женька с силой рванула на себя ручку старенькой, окрашенной белой краской, двери. Ревущим мотором ввалилась в кабинет и, едва переведя дух, выпалила: «Всё! Вам – конец!»

Колька был существом, которого Женька любила, как ей казалось, больше всех. Впрочем, это ничуть не мешало ей иногда хвататься за ремень или давать ему подзатыльники. Колька никогда не плакал, только кривил рот, и Женьку это нисколько не удивляло. «Весь в меня», – думала она одновременно с гордостью и отчаянием, бросая в сторону ремень, и руки, которые минуту назад держали орудие наказания, начинали беспорядочно гладить вихрастую голову. «Разве я бью? – она пыталась искать себе оправдание, – вот меня в детстве били – это да!» По правде говоря, Женька не очень любила вспоминать собственное детство, да там, по сути, хорошего было мало, ибо её детские годы были насквозь пронизаны Его Величеством по имени *Страх*, который рос вместе с самой Женькой и иногда являлся в снах, превращавшихся в кошмары или мелькал в мыслях, от которых Женька старалась отделаться как можно быстрее. Но он никогда не уходил навсегда. Он незримо присутствовал – мерзкий, липучий, гадкий. Он пришёл из детства, этот Страх – страх перед постоянной угрозой быть избитой отцом, страх перед ремнём с огромной пряжкой, на которой были выбиты три здоровенные буквы БАМ, страх принести из школы плохую оценку...

Но было ещё нечто более худшее, чем этот ненавистный ремень и синяки, периодически остававшиеся на Женькиных руках и ногах, и это худшее называлось *Унижением*. И если Женькин отец проявлял неистощимую энергию в побоях, то в смысле унижения ему вообще не было равных в округе. Иногда Женьке доводилось слышать, как родители ребятишек из дворовой компании ругали тех словами, которые были весьма далеки от литературных норм. Но проходило две-три минуты – и «предки» Димки Никольского или Ирки Гусевой уже нормально беседовали со своими чадами, будто никакой ругани между ними не было. И Женька, сначала недоумевавшая, почему это её знакомые Ирки, Димки и Лёшки совсем не сердились на своих родителей за «неприличные» слова, которые иной раз сыпались в их адрес, постепенно перестала удивляться. Перестала потому, что начала понимать, что родителям её дворовых друзей

просто надо было, что называется, «прокричаться» – и... на этом все их эмоции улетучивались! Она видела, что на самом-то деле ни тётя Люся Никольская, ни дядя Дима Гусев, ни даже бабушка Гошки Самойлова – самого большого хулигана в их дворе – никогда не испытывали *настоящей* злости к младшему поколению. А Женькин отец «нехороших» слов и выражений в речи не использовал. Но из всего запаса, имеющегося в его речи, он умудрялся выбирать самые обидные, самые гадкие. И где-то глубоко внутри Женьку это очень ранило. Ей даже хотелось, чтобы отец бросил бы в её адрес пару-тройку всех этих слов из репертуара соседей – и потом заговорил бы обычным, спокойным тоном. Но такого в её жизни не случилось ни разу. Более того, отец долго помнил её «проступки» и запрятывал злость внутри себя так, чтобы через какое-то время опять упрекнуть Женьку за то же самое деяние, за которое она уже получила порцию надранных ушей и обидных выражений. И вновь упрёки сопровождались унижительными словами, так что Женьке иногда казалось, что конца-края этим обзываниям не будет. Никогда не будет. Вот поэтому где-то лет с тринадцати самым сильным Женькиным желанием стало одно: вырваться из этого дома, где её, Женьку, никогда никто не любил.

Вернувшийся из школы Колька с отчаянием бросил к двери портфель и вдруг заревел. Женька сначала удивилась, а потом перепугалась: сын плакал редко. Она принялась вытирать ему слёзы кухонным полотенцем, которое подвернулось под руку, но Колька не унимался, а из карих глаз-вишеноч ручьём лились слёзы обиды. «Не пойду больше в школу», – повторял он, – то прекращая, то вновь принимаясь всхлипывать.

Женька стояла весьма и весьма озадаченная: сын учился хорошо, и проблем с учёбой у него отродясь не было. Да и на поведение учителя никогда не жаловались.

«Ну-ка, – она схватила Кольку за руку, – объясняй, что случилось. Ты подрался? Тебя побили? Говори же!»

Но тот уже полез в портфель и вытащил оттуда немного измятую, тонкую зелёную тетрадку. Ничего не понимающая Женька открыла её. Оттуда, нахально усмехаясь, на неё глядела красная ядовитая «двойка». «Я предложение не так разобрал, – снова принялся гундосить сын, – а она мне «двойку». И ещё одну, в дневник. Я, мам, не пойду больше в школу». И он опять заплакал. А Женька стояла вконец удивлённая. Сын был не только её самым любимым человечком, он был её гордостью! Во всём. И в учёбе тоже. В первом классе она, эта самая учёба, поначалу не задалась. Торопливый Колька то пропускал буквы, то неверно решал задачки – не по глупости, а по невнимательности, плохо прочитав условие... Ох, сколько было поломано копий, пока маленький первоклассник наконец не вошёл в нужный ритм! Но уж когда вошёл, учёба стала даваться легко. И если с математикой иногда случались погрешности, с русским языком всё шло довольно гладко. Правил Колька не учил – это был общепризнанный факт, но писал грамотно, без ошибок. Женька считала, что у него грамотность была врождённая, а также приписывала умение писать даже самые сложные слова тому, что сын много читал. Она снова посмотрела в тетрадку: «двойка» раздулась и, казалось, ещё больше раскраснелась от важности. Почерк, которым было написано домашнее упражнение, оставлял, честно говоря, желать лучшего, но по большому счёту написано было весьма прилично и разборчиво. За что учительница так рассердилась – пока понять было сложно.

«Ладно, – Женька положила тетрадь на письменный стол, – пойдём обедать. Тебе же в музыкальную ещё идти!»

Музыкальная школа тоже была предметом Женькиной гордости. Сын учился играть на баяне и ходил в «музыкалку» по собственной инициативе. Женька своего желания ему не навязывала. Да она и не могла сделать этого хотя бы по той причине, что у неё даже в мыслях не было учить Кольку музыке. Но, как-то раз забежав к соседям, семилетний мальчуган увидел, как дочка соседей – Марина – достаёт из чёрного футляра, похожего на чемодан неправильной формы, какой-то странный инструмент, оказавшийся на самом деле баяном. А когда

Марина, расположившись в комнате, сыграла ему пару-тройку простеньких произведений, да ещё и добавила, что скоро собирается участвовать в концерте, потому что ходит заниматься в оркестр, Колька моментально загорелся тоже научиться играть на таком чудесном инструменте. Женька думала, что желание это было сиюминутным, поэтому на Колькину просьбу – отдать его учиться в музыкальную школу – положительно кивнула. При этом она заметила, что неплохо было бы дожидаться сентября, потому что в середине лета ни в какую школу его бы не записали. Каково же было её удивление, когда в конце августа Колька внезапно напомнил своей маме об их разговоре. Так Женьке и пришлось отвести его в музыкальную школу, куда в отличие от многих мальчишек и девчонок, Колька стал ходить с удовольствием.

Родители у Женьки были, по её собственному выражению, «только записью в свидетельстве о рождении». Женьку с ранних лет растила бабушка – суровая и добрая одновременно, выжившая от голода в гражданскую войну и прошедшая всю Великую Отечественную. Бабуку Женька обожала, звала её «мамой», и хотя между ними иногда и случались споры или недопонимания, они никогда не выливались во что-то серьёзное, так как бабка была мастером по «обхождению острых углов» в жизненных ситуациях. Женька же «острые углы» не только не умела обходить – она в противоположность аристократичной бабушке, с лёгкостью создавала их! Она была таким «ершом» как дома, так и в школе. Не задумываясь, ссорилась с ребятами, с которыми через пять минут снова мирилась, а ещё через пять снова ссорилась. И так могло повторяться до бесконечности. Став постарше, Женька ничего не изменила в своём характере: ей ничего не стоило наговорить грубостей даже тому, кого она видела впервые в жизни. Она совершенно не умела держать себя в руках и не старалась научиться этому. Бабушка частенько ругала Женьку, но поделаться ничего не могла. В особенности же плохо Женька относилась к мужчинам, которые по возрасту были близки к возрасту её отца. В них она видела потенциальных обидчиков и истязателей. Ей казалось, что добрые и улыбающиеся мужчины на улице дома превращаются в тиранов. А словосочетание «хороший отец» вызывало на Женькином лице в лучшем случае кривую ухмылку.

Колька сидел за столом и выводил буквы. «Наверное, она не будет ругать меня?» – и он протянул Женьке тетрадку. «Наверное, не будет», – уверенно сказала та, глядя на домашнее упражнение. «Ишь как ровно написал», – подумала она про себя. Но вслух сказала: «В следующий раз пиши ещё аккуратнее». Сын посмотрел на неё, в его глазах было недоумение. «Я старался», – сказал он каким-то важным басом.

Позже, когда он заснул, Женька долго смотрела на его аккуратный носик, на русые вихры и вспоминала, как чуть не родила его в четыре месяца. Как остаток беременности пролежала в больнице на сохранении, стойчески перенося все капельницы и уколы, которые врачи выписали ей в несметном количестве. А когда он родился, Женька чувствовала себя самой счастливой. Игрушек с самого Колькиного рождения в доме было много, начиная от простеньких резиновых утят и крокодильчиков до супермашин с дистанционным управлением. Женькины подружки тоже баловали своих детей игрушками, правда, это баловство зачастую заменяло материнское общение. Нередко Женька становилась свидетельницей окриков в адрес сыновей и дочек своих приятельниц: «Я тебе столько игрушек накупила, а ты всё ко мне лезешь играть. Иди, не мешай!»

Для Женькиной сущности такое обращение с детьми было непонятно и неприятно. Сама она неустанно строила с Колькой башенки из разноцветных кубиков, собирала ему железную дорогу и к неуёмному удовольствию малыша весьма похоже изображала на разные лады гудки паровоза. Она читала сыну на ночь сказки про злого-презлого волка и хитрющую лису, кото-

рая всегда выходила с лёгкостью из всех ситуаций, но непросто читала, а объясняла, почему репку можно было вытащить только сообща и почему Емеле так повезло с волшебной щукой. Женька практически не спускала маленького Кольку с рук до тех пор, пока тому не исполнилось четыре года. Счастливые это были времена! Предаваясь воспоминаниям, Женька не заметила, как задремала.

Утро же выдалось суматошное: они проспали! Редкость несусветная! Бегом в ванную, бегом завтракать, бегом на остановку провожать Кольку! И только когда переполненный автобус, пыхтя и пуская синеватый дымок, повёз кого в школу, кого на работу, Женька, посмотрела на часы и облегчённо решила про себя: «Всё-таки успеет!»

Вот оно – счастье! Сердце Женьки пело так, будто внутри невидимый смычок плавно и мелодично водил по таким же невидимым струнам: они подали заявление в ЗАГС. Женькин избранник, добродушный толстяк Пётр, только улыбался, глядя на то, как его будущая жена вместо того, чтобы степенно идти с ним по дороге, вдруг начинала прыгать, скакать, а то и просто кидаться ему на шею, вызывая неподдельное удивление у прохожих.

«Женя, ну Женя! – то и дело повторял он, – разве можно так?»

«А почему бы и нет? – она весело подмигивала ему, и из её тёмных глаз лился какой-то необыкновенный свет.

По правде говоря, в душе Пётр и сам был не прочь погоняться за озорницей-Женькой, но как-то стеснялся. Неудобно было перед людьми, которые шли по своим делам и отнюдь не разделяли, как ему казалось, Женькиного бурного веселья.

Дальше дорожка сузилась, и молодые люди пошли, держась за руки, но Женька и тут не могла идти спокойно. Она то и дело дёргала Петра за руку или принималась целовать его в щёку.

...А вечером дома разразился скандал.

«Кто тебе позволил подать заявление без спроса?» – строго спрашивала мать. А отец добавлял своё неизменное: «Надо же, тварь, хоть бы послушала родителей! А может, мы против твоего брака?» Женька сидела, прислонившись спиной к шершавой холодной батарее, и плакала. Она не могла понять, почему радостное и такое важное событие в её жизни превращается в очередной кошмар. Внутренний голос подсказывал ей что напускная «забота» родителей о её будущей замужней жизни – чистейший воды фарс. Им всегда было безразлично, с кем общалась Женька, они даже имён всех её подруг не знали. И теперешняя комедия, которую они старательно разыгрывали, была направлена только на одно: уничтожить, забить, унижить. Голова уже отказывалась воспринимать обидные слова, которыми продолжали награждать её родители. Всё рушилось. Получалось, что свадьбе, о которой она так мечтала, не бывать. «Уж и платье, поди, присмотрела?» – в голосе матери слышалась насмешка. «Вот, посмотри, – обращалась она к отцу, деланно рисуя на своём лице, обиду, – какова нынешняя молодёжь! И дочь наша такая – ветреная девица, которая даже совета родителей не спросила!» А тот поддакивал: «Я же говорю: дура и есть дура!»

«В общем, так... – вынесли свой вердикт родители. Никаких тебе денег на свадьбу мы не дадим. Прежде чем по ЗАГСам бегать, могла бы и нас спросить, согласны ли мы вообще тебя замуж отдать». И они опять повернулись друг к другу, продолжая обсуждать своеволие дочери, перемежая свою речь с обидными репликами в её адрес.

Женька, которая уныло поплелась из комнаты, вдруг резко остановилась. Слёзы обиды в одну секунду сменились яростью.

«Да что вы меня постоянно запугиваете?» – закричала она так, что висевшая на потолке люстра закачалась. Однако собственный громкий голос только придал Женьке уверенности. «Сколько можно со мной так обращаться? Говорите, что денег не на свадьбу не дадите? Да

не надо мне от вас ничего!» И она пошла внутрь комнаты, наступая на мать с отцом. «Вы... – она задыхалась от охватившего её гнева, – вы... вы всю жизнь мне испоганили! Свадьба у меня будет! Ясно это вам? Будет!!! Пётр все сбережения отдаст, он ещё заработает. И родители его тоже деньгами помогут. Пусть скромная свадьба, но она у меня будет!!! Вы слышите? И я вам не дура, и не тварь! Евгенией меня зовут, если вы забыли. Ев-ге-ни-ей!» – повторила она, вложив в последнее слово всю громкость своего голоса, хотя эта самая громкость и без того превышала все допустимые нормы.

Побледневшая мать стояла молча. Отец впервые в жизни ничего не ответил Женьке. А она, угрожающе подняв руки, показала родителям две огромных дули: «Вот вы что со мной делаете! Мне девятнадцать лет, я совершеннолетний человек. Только попробуйте ударить меня! Я вас ... -Женька на мгновение перевела дух – я вас в тюрьму посажу! Обоих!»

Кажется, именно тогда Женька поняла, что совершилось то, чего она *боялась* всю свою недолгую жизнь. И, оказалось, *это* совсем не страшно – суметь постоять за себя и не дать себя в обиду. Секунды, повисшие в мёртвой тишине, стучали по вискам холодными каплями: бам... бам... бам... Женька ещё раз зачем-то вскинула руки, потом опустила их и, круто повернувшись, выскочила из комнаты. Уселась в кухне на низенькую некрашеную табуреточку и обхватила голову руками. Внутри у Женьки бушевала стихия, и сердце колотилось так, как будто поставило себе обязательную задачу – выпрыгнуть вон из груди.

Минут через десять в кухню пришла мать. До этого бледное её лицо стало каким-то неестественно красным. «Да выходи за кого хочешь и когда хочешь», – только и произнесла она.

Это была первая в Женькиной жизни победа...

Колькин ранец валялся в углу, а сам он сидел за кухонным столом с поникшей головой. Он не плакал, но на лице его высвечивалась неподдельная обида. Нос заострился, а глаза уныло смотрели в одну точку.

«Я ей тетрадку отдал, – повторял он, наверное, уже в сотый раз, – А она говорит, что слова по составу не разобраны. И фонетический разбор не сделан». Он вздохнул и начал теревить бахрому на клеёнке.

Женька стояла рядом с уже известной тетрадкой в руках. Двойки на сей раз удалось избежать, но тетрадная страница была исписана аккуратным учительским почерком. Суть замечания, и вправду, состояла в том, слово «*замкнутый*» не было разобрано по составу, а «*бирюза*» и фонетический анализ в этот раз как-то снова не подружились. Глядя на приунывшего сына, Женька вспомнила своё, полное несправедливостей, детство. Память живо нарисовала ей картину из далёкого прошлого, когда вот также, сидя перед отцом, она оправдывалась за свои, не всегда хорошие, оценки. Оправдывалась, а ответ слышала, какая она глупая, какие у неё ватные мозги, да и голова сделана из фанеры. И как когда-то очень давно, ей захотелось отомстить. Кому? Да какая разница! Да хоть той, которая незаслуженно ставит двойки её сыну! Мысль о том, что Колька действительно мог наделать ошибок, выполняя домашние задания, даже не зародилась у Женьки в голове. Зато зародилось где-то в потайных уголках её сердца маленькое цунами, и потихоньку, превращаясь из маленького в большое, стало расти, набирать обороты, подталкиваемое одним только желанием – жаждой мести. На сей раз за сына, который, не мог постоять за себя.

Мсть – как известно, штука гадкая, и в друзья её лучше не записывать. Да и вообще от неё следует держаться подальше, потому что, искусно маскируясь под справедливость, она может довести человека до необдуманных поступков. Но эмоции бушевали внутри Женьки настолько сильно, что их можно было сравнить с высоко вздымающимися волнами, которые возникают на море в десятибалльный шторм. А о том, хороша ли мсть или плоха, Женька

в тот момент даже не задумалась. Совершенно не отдавая себе отчёта в словах и поступках, Женька со злостью свернула тетрадку небольшим рулончиком и, сжав её в левой руке, тихим угрожающим тоном произнесла, словно обращаясь к себе самой: «Ну, посмотрим – кто кого!»

Бабушка Евдокия Юрьевна Женькиного поведения не одобрила. «Так нельзя, – то и дело повторяла она, в волнении измеряя комнату мелкими старческими шажками. – Ты взрослый человек, а ведёшь себя как девочка в детском саду! Разве же можно решать все проблемы решать криком? Ты вообще часто помнишь, чтобы я когда-нибудь на кого-нибудь кричала?» Слова «когда-нибудь» и «кого-нибудь» бабушка произнесла особенно чётко, очевидно надеясь, что так их смысл станет ясен намного быстрее.

Женька сидела молча, сложив руки на коленях. Она понимала, что бабушкой руководит её аристократическое прошлое и интеллигентное воспитание. А ещё её профессия врача – долг помогать людям! Бабушка никогда никому не отказывала даже в мелочах. Никогда не жаловалась на трудности, которые преподносила жизнь. Никогда ... ой! – да много их ещё было – этих «никогда». Что верно – то верно: Евдокия Юрьевна умела держать себя в руках в любой ситуации, и было такое, чего она действительно *никогда* не делала: она не кричала на людей, она любой конфликт с легкостью распутывала так, как будто это был заигранный шаловливым котёнком моток свалявшихся ниток.

– ... ты меня слышишь? Женья!!!

– Слышу, – отозвалась Женька откуда-то из глубины своих мыслей.

Она рисовала себе в воображении картины, как бабушка вместо неё идёт в школу, где учился Колька. Как медленно поднимается по ступенькам отекающими, немолодыми уже ногами, как входит в незнакомое помещение, осматривается. Вот она разговаривает с Антониной Александровной тихо, мягко, пытаясь понять суть возникшего конфликта. Женька рассмеялась про себя: наверное, выйдя из кабинета Колькиной обидчицы (как про себя окрестила Женька учительницу русского языка), бабушка ещё чего доброго подружилась бы с ней!

Насчёт «обидчицы», Женька, правда, хитрила самой себе. Попросту сидела и обманывала себя. В злосчастной тетрадке какое-то время ничего не появлялось. Учительница то ли была на курсах, то ли на больничном. Потом, когда уроки русского языка вновь возобновились, сын даже как-то раз пришёл из школы с "четвёркой" и, скорее всего, Женькин внутренний протест так бы ни во что и не вылился, но тут, как на грех, Кольке выставили сразу два «тройка» за диктант. И Женьку вновь захлестнули обида и злость. Долго раздумывать она не стала – просто взяла и отправилась в школу. Отправилась, что называется, без единой мысли. Она даже плана в своей голове никакого не набросала, как она будет разговаривать с незнакомой ей учительницей, что спросит, чем поинтересуется...

Разговора с Антониной Александровной у них, естественно, не получилось. Вместо него получился какой-то дьявольский монолог, в котором Женька безо всякой театральной подготовки сыграла роль демона во плоти: кричала, ругалась и грозила какими-то несуществующими связями – в общем вела себя далеко не лучшим образом. Антонина Александровна, которая поначалу с трудом поняла, с какой целью явилось к ней плюющееся ругательствами, несуразное взлохмаченное существо, стояла молча, сложив руки на груди. За все эти три или четыре минуты, что длилась Женькина тирада, она не произнесла ни слова, лицо её словно замерло. И только после того, как Женькино «красноречие» иссякло, и сама Женька, выдохнув из себя последние обидные слова, замолчала, уставившись на объект своей злости, Антонина Александровна произнесла каким-то непонятным, едва слышным, голосом: «За какие грехи мне Вас Бог послал – не понимаю». Женька, по правде говоря, тоже уже мало чего понимала. Запал её кончился, и едкие слова не хотели больше изыматься из памяти. И может быть, она бы добавила ещё что-то, но почему-то молчала. Молчала, ожидая ответной словесной атаки,

как это было в детстве с подружками, которые, не желая давать себя в обиду, имели не менее острые язычки, чем Женькин. Или как с отцом, на которого она научилась огрызаться с такой ненавистью, что тот порой не успевал закончить начатой фразы.

Однако здесь всё вышло совсем не так. Не так, по крайней мере, как планировала и ожидала Женька. Слишком уж тяжёлая тишина вдруг зависла свинцом в кабинете и мешала ей вновь открыть рот.

И, как в тот далёкий вечер, когда она впервые рискнула постоять за себя перед родителями, Женька зачем-то подняла кверху руки, но в этот раз движение получилось медленным и неуверенным. Ей захотелось сжать кулаки, но свинцовая пелена окутала всё вокруг, и вместо этого руки вдруг сами опустились. А Антонина Александровна всё стояла и молчала. И Женька поняла, что она больше не произнесёт ни слова. Ни звука. А потом, невидимый глазу, но явно опытный кукловод, тихонько взял её за плечи и повернул к двери. Женька вышла из кабинета и пошла по коридору, всё ещё ожидая хоть какого-то ответа. Но в спину ей невесомо дышала тишина...

... Колька, ещё совсем малыш, раскинув руки, бежал к ней. Ветерок трепал его волосы, играл с полами лёгкой ситцевой рубашечки. Вот он добежал до Женьки, с размаху обхватил её колени руками и уткнулся улыбающейся рожой в подол юбки.

– Давай сорвём цветочек, – предложил он.

– Давай, – согласилась она. Они нашли ромашку со множеством белых лепесточков, похожих на крохотные остренькие заячьи ушки, уселись в траву и Женька начала учить Кольку «гадать»: любит – не любит... Вышло, что «любит».

– Видишь, – засмеялась она, глядя сына по голове, – ромашка говорит, что я тебя люблю!

– Дай, – потянулся он к цветку, но там не осталось ни одного лепестка. Покрутив в руках, ставший ненужным стебелёк, Колька побежал искать ещё ромашку. Нашёл и принёс: «Давай я теперь буду гадать!».

Но у него «гадание» шло плохо: Колька нетерпеливо обрывал по два, а то и по три лепестка. А некоторым белым «ушкам» не повезло вообще: в Колькиных руках они разрывались наполовину, но ножками оставались на стебле, плотно прижавшись остатками к сердцевине. Однако, неизвестно какими путями, у него тоже вышло «любит».

– Я тоже люблю тебя, – сказал он и стал бегать вокруг Женьки: «Не поймаешь, не поймаешь!»

Звонкий голосок его разливался по лугу, где-то вверху Кольке на несколько ладов вторили птицы. Женька вдыхала чистый пьянящий воздух и улыбалась счастливой ребячьей улыбкой.

– А ну-ка, – она вскочила на ноги и повернулась к сыну: – Убегай! Ох, я тебя сейчас догоню!

Отношения с учительницей наладились как-то незаметно. Женька ещё несколько раз забегала в школу к классной руководительнице, но на Антонину Александровну, что называется, «не нарвалась». Сама Женька втайне была рада этому: она чувствовала себя несколько виноватой за ту сцену, которую устроила в кабинете завуча, и иногда на неё находило совершенно искренне желание пойти и извиниться за грубые слова, на которые она так и не получила словесной сдачи. Но другой, упрямый и злобноватый гнусавый голос, начинал уговаривать и давить на Женькину совесть: «Не делай этого. Подумаешь, сорвалась на ком-то... Что с тобой, это впервые?» И Женька так никуда и не пошла, а история эта стала забываться, потому что жизнь преподносила разные задачки, которые хочешь-не хочешь, а надо было решать.

Всё всплыло моментально и ярко и в памяти, и в подсознании, и во всём организме Женьки, когда Колька заканчивал девятый класс. Сам себя он уже называл *Николаем Петровичем*, – он так всем и представлялся, по-мужски подавая руку при знакомстве. Правда, «мужик» был невелик ростом, и урокам алгебры иногда предпочитал просмотр мультиков, скачанных у товарищей-одноклассников на мобильный телефон. Тем не менее, успеваемость его была если уж не «на высоте», то совсем не такой, из-за которой некоторые родители хватаются за голову, и вечерами, придя домой с работы, отчитывают своих отпрысков. А так же ахают и охают, по поводу стабильных «неудов» в дневниках. Николай Петрович учился ровно, а по русскому языку давным-давно кроме хороших и отличных оценок в его тетрадях ничего не ставилось. Он по-прежнему много читал, хотя с некоторых пор стал «халтурить»: прочтёт интересные места в книге, а описательную часть раз – и проскочит, не глядя. Женька пыталась разубедить его, объясняя, что Тургенева надо читать вдумчиво, со смыслом, но это мало помогало.

И учил Николай Петрович теперь избирательно: его учебники разделились на новые и затрепанные. Последние не выпускались из рук в виду того, что их было интересно читать. Соответственно, и учить то, что в них было написано, тоже было интересно. Новые же, открывавшиеся намного реже, лежали аккуратной стопочкой на краю стола. Если бы их можно было вообще не трогать, они бы покрылись толстым слоем пыли. Видно, привыкнув к своей горькой участи и попав в разряд «неинтересных», эти учебники словно сами себе стали неинтересными. И книга по информатике бессловесно и уныло взирала на весьма потрепанную, а значит, по меркам Николая Петровича, уважаемую «Литературу».

Вот так, то бегом, то ползком добрались они до весьма существенного в жизни каждого девятиклассника события – последнего звонка. Это событие, само по себе немаловажное, предполагало ещё и дальнейший выбор жизненного пути – надо было либо остаться в школе, и тогда ещё целых два года можно жить беспшабашной детской жизнью, где, знающие тебя учителя, хоть и поворчат да посердятся, но всё же выставят какую-никакую слабую «троечку», а то и «четверочку», либо надо расставаться со школьными стенами и вступать в жизнь взрослую, пока ещё незнакомую.

Николай Петрович решил остаться в школе. С выбором профессии дело как-то застопорилось. Он, было, выказал желание пойти учиться на повара, но встретил со стороны Женьки, которая втайне мечтала видеть сына в белом халате и в кристально-светящейся, до рези в глазах, операционной, такой отпор, что спорить не решился. Праздник же последнего звонка получился одновременно и торжественным, и печальным, наполненный фотовспышками, забытыми от волнения словами, переливающимся шёлком на платьях красавиц-девочек и некоторой угловатостью ещё не повзрослевших мальчишек – в общем, всё вышло очень даже здорово и весело. И когда праздник закончился, Женька стала выискивать в толпе белый парадный свитер сына, её глаза совершенно случайно натолкнулись на Антонину Александровну, которая шла прямо на неё.

Внутри у Женьки моментально шевельнулся острый комок: сейчас! Сейчас будет произнесено всё то, о чём умалчивалось целых пять лет! Сейчас, когда окончен девятый класс, когда со следующего года поменяются почти все учителя, можно произнести, наконец, ту ответную речь, которая по Женькиным соображениям, *должна была* жить в голове Антонины Александровны, и, уж конечно, она должна была жить и в её сердце. Она напряженно смотрела на подходившую к ней учительницу, старательно пытаясь придумать какие-то слова не то извинения, не то оправдания, но к её совершеннейшему удивлению, они не понадобились. Не понадобились потому, что улыбнувшись, как-то совсем тепло и устало, Антонина Александровна сказала: «Хороший у Вас вырос мальчик, Женя». И произнесла что-то там ещё про достойное воспитание и пожелание доброго пути в будущем – Женька с трудом воспринимала эти слова, ошарашено глядя на ту, от которой она ожидала услышать совсем обратное. Она даже

не сообразила сказать в ответ «спасибо», а когда спохватилась, Антонина Александровна, на ходу перехваченная кем-то из учителей, уже уходила прочь по длинному школьному коридору.

... Вот так же, тупо смотря на аккуратно заправленную кровать и на море цветов и венков, среди которых преобладал красно-бордовый цвет – бабушка ведь была военным человеком – два года назад Женька стояла в комнате, где прошло почти всё её детство. Плыл в жарком летнем воздухе запах ладана, певуче шла молитва батюшки, и огонёк свечи стоял почему-то прямо, словно он был солдатом из бабушкиного далёкого прошлого. Мать часто всхлипывала, прикладывая к носу платочек, смоченный нашатырным спиртом, но Женьке эти всхлипывания казались неестественными. В Женькиной голове то и дело волчком вертелась мысль: «И здесь не обошлось без показухи!» Тогда Женьке казалось, что если бы бабушка сейчас была жива и увидела бы всю эту «рисованную фальшь», она бы просто ушла, чтобы не смотреть на очередное представление, старательно разыгрываемое домочадцами. Поэтому Женьке хотелось побыть здесь одной, без всех, вернее наедине с бабушкой, но это было невозможно.

Сама Женька не плакала. Она стояла молча, не привыкшая пока что к мысли, что осталась она теперь в этом мире одна. Конечно, муж и сын были рядом, но теперь уж ей никто не даст дружеского совета, никто не улыбнётся так, как это умела делать её старенькая бабушка. Дети переживают смерть близких легче, у взрослых же – свои, видимо, эмоции и свои взгляды на этот счёт.

Евдокия Юрьевна ушла из жизни так же легко, как, наверное, когда-то пришла в неё. Словно махнула на прощанье рукой и... улыбнувшись, просто перестала дышать. Она и теперь лежала с этой спокойной и доброй улыбкой, и, глядя на лицо, на котором теперь не отражались никакие земные проблемы, Женька с трудом вдавливая в свою голову мысль, что сон этот для её бабушки уже вечный, а она, Женька, осталась топтать эту грешную землю и, главное, осталась *жить*, хотя жизни этой она себе ещё не представляла.

Потом был усатый майор и шесть молоденьких солдатиков из ближайшей воинской части, езда в машине по раскалённому городскому асфальту, торжественные речи на кладбище и три залпа холостыми патронами из винтовок в бабушкину память.

Память... теперь всё останется только в памяти, да на фотографиях, в основном чёрно-белых, да в снах, куда бабушка будет приходить периодически – вот и всё. Женьке тогда казалось, что жизнь её остановилась вместе со старыми часами 2-го московского часового завода, что безмолвно остались стоять на стареньком немецком, марки Г.Фидлер, пианино. Что-то незаметное и непостижимое уму и объяснению ушло вместе с Евдокией Юрьевной туда, куда невозможно ни поехать, ни просто заглянуть, туда, куда рано или поздно прилетит душа любого человека, но Женьку *туда* не взяли, и она в тот день не могла определить для себя, хорошо это для неё или плохо.

... Картошка в кастрюльке немного подгорела. Женька ждала из школы Кольку, но отвлеклась на кадры из старого, послевоенного фильма, где артист Николай Крючков здорово пел про броневой десантный батальон, а потом не менее здорово выплясывал вприсядку перед бригадой трактористов. Женьке передалось его ухарски-весёлое настроение, и с полотенцем через плечо, она, не отрывая взгляда от экрана, незаметно для себя подпевала Крючкову, как вдруг запах, явственно указывающий на опасность остаться без обеда, заставил Женьку опрометью броситься в кухню. Пока она открывала форточку и махала всё тем же полотенцем, пытаясь выгнать накопившийся в кухне чад, в прихожей хлопнула дверь.

Женька воевала в кухне с дымом, а Колька стряхивал с куртки снег и с порога рассказывал школьные новости: по алгебре хватанул «трояк» – да ну её, алгебру эту, ничего в ней

понятного и интересного. Зато по английскому его хвалили в присутствии всего класса. Какой у него был перевод – все заслушались! Женька лукаво улыбнулась, слушая Кольку: перевод на пятьдесят, а то и на все семьдесят процентов был сделан с её, Женькиной помощью, и Колька, угадав по лицу, что хотела произнести мать, быстренько сменил тему.

– Кстати, представляешь, – проговорил он, жуя хлеб, – Антонина Александровна оказывается в больнице. Уж две недели, наверное.

– Как? – удивилась Женька, – и почему ты сразу не сказал?

– У нас же теперь другие учителя, ты забыла? Да я и сам узнал случайно. Как ты думаешь, съездить к ней или нет?

– Ты ещё раздумываешь... – подняла брови Женька.

– Ну, тогда мы с Максом завтра скатаемся, ладно? Ты меня рано не жди, туда далеко ехать.

«Туда» – оказалось на противоположный конец города. В областную больницу. Узнав об этом, Женька смекнула, что дело серьёзное, так как с простым кашлем, вызванным обычной респираторной инфекцией, в такое заведение не попадёшь.

У неё почему-то защемило внутри. Опять память предательски и так некстати стала выдавать картинки пятилетней давности – школьный коридор, кабинеты, обидные и глупые слова, побледневшее лицо Антонины Александровны... Женька присела на краешек табуретки: она почему-то подумала, что тогда, много лет назад, всё можно было решить совсем по-другому. Ну, уж совсем без эмоций наверняка бы не обошлось, но ведь можно было всё сделать не так. А как? Да очень просто: без грубостей, без хамства. Надо было себя в руках держать. Вот как! Теперь Женька хорошо понимала это, но тогда, когда Колька учился ещё в пятом классе, ей не удалось бы сделать такой удивительно лёгкой вещи, потому что в силу своего характера она *тогда* она не умела сдерживаться.

Женька представила себе палату, где может быть лежат шесть, а то и все восемь человек. И ещё больничный коридор – длинный как трубопровод и унылый, и где на дверях висят таблички «Процедурный кабинет», «Клизменная» или что-то в этом роде... Настроение испортилось окончательно. Женька рассеяно тыкала вилкой в подгоревшие куски картошки (хорошие, естественно, она отдала Кольке) и не могла понять сама себя: ведь совсем недавно на известие, что Антонина Александровна попала в больницу, она не обратила бы никакого внимания. Что-то произошло в её душе – однако Женька пока ещё не могла понять, что именно...

...Бывают же в жизни совпадения! Женька и сама не успела сообразить, как это вот так, Её Величество Судьба взяла – и закинула именно Женьку и именно на тот конец города, где Колька с Максом уже успели побывать неделей раньше. Впрочем, одним совпадением дело не обошлось. Началось всё с того, что Петру надо было отвести какие-то документы в дочернюю фирму. Женькино присутствие в этой самой фирме было никому не нужно, но, как на грех, днём раньше у них сломалась сигнализация на машине. Ехать в «Тмутаракань» – так Пётр называл этот дальний район – на автобусе, когда на улице минус двадцать пять, было равносильно сумасшествию; оставить же на улице, да ещё и в малознакомом районе, машину, у которой не работала сигнализация, было равносильно не меньшему сумасшествию. Вот так Женьке выпала честь в течение сорока минут работать сторожем в собственной машине, а заодно понаблюдать за кипучей жизнью не знакомого ей микрорайона.

Жизнь там действительно оказалась яркой и весёлой, а всё потому, что недавно выстроенный в этих краях торговый центр, совершенно гигантский по своим размерам, сверкал неоновыми буквами, не щадил ушей прохожих оглушительной музыкой, зазывал рекламными роликами, демонстрирующимися на огромных, в полстены, мониторах. И название у него было соответствующее – «Фантастика». Двери, открывавшиеся в обе стороны, впускали и выпускали

народ. Одних – замёрзших и желающих погреться и выпить чашечку кофе – внутрь; других – довольных, с покупками, или просто поглазевших на витрины и ничего не купивших, но тем не мене таких же довольных – наружу. Женька, сначала сидевшая в тёплой машине, решила таки вылезти на бодрящий морозный воздух, чтобы чуть-чуть расправить уставшую от долгого сидения спину и прибавиться к толпам людей с хорошим настроением. Какое-то время она смотрела на мониторы, где сменяющие друг друга живые картинки, рекламировали то французскую косметику, то дорожные мужские костюмы, то мебель, произведённую аж в Италии. Музыка всё играла и играла без остановки, люди сновали туда-сюда, и Женька безотчётно улыбалась этой хотя бы внешне счастливой и беззаботной жизни, которая ненадолго окружила её и взбудоражила внутри кровь. И ей тоже хотелось побыть с этим легкомысленно-весёлым народом, также легко пройти через стеклянные двери, потолкаться в толпе и перенять от неё просто хорошее настроение.

Вот так, прыгая около машины, Женька вдруг незаметно посмотрела в противоположную сторону. А там, через дорогу, всего в нескольких десятках метров, оказывается, была другая жизнь, которая состояла из коричневого, кое-где заржавевшего, железного забора, густых деревьев и пробивавшихся сквозь тёмные ветки огней стоявших в глубине зданий. И Женька вдруг медленно-медленно, но всё же начала соображать, что это и была та самая больница, куда неделю назад ездили Колька с Максом, и куда Антонину Александровну засунул ужасный диагноз под названием «бронхит». Женьке почему-то так и подумалось – «засунул», потому что по её меркам ни один нормальный человек никогда бы добровольно не согласился оказаться на больничной койке. А уж ежели кому-то и получалось попасть в лечебное учреждение, откуда пациентов даже ненадолго погулять не выпускают, значит, какая-то болезнь оказывалась настолько сильнее человека, что он никак не мог ей противостоять. И тогда недуг становился полным хозяином здоровья и жизни. И мог сделать с человеком всё, что угодно. В том числе, взять – и упрятать (Женьке опять пришёл в голову глагол «засунуть») его в больницу, например. Как какую-то вещь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.